

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ СМИРНОВ  
(Гродно, Беларусь)

**Проблема личности в диалоге автора и героя  
«Записок из подполья» Ф.М. Достоевского**

**Аннотация.** Проблема личности в «Записках из подполья» рассматривается в статье в двух взаимосвязанных аспектах. Первый – анализ антропологических воззрений героя Достоевского, радикальных для времени создания повести, но позитивно представленных в экзистенциализме XX века (Сартр, Камю, Франкл). Второй – анализ форм выражения авторской позиции, парадоксально сочетающей дистанцирование от идеологии героя и внимание к его точке зрения. Диалогизм и внутренняя противоречивость авторской позиции рассматриваются как фактор, определяющий структуру авторства, организацию повествования, функционирование темпоральных образов («сорок лет»), особенностей сюжетно-композиционного строения «Записок из подполья».

**Ключевые слова:** экзистенциализм, личность, автор и герой в *Icherzählung*, повествование

По актуальности поставленных вопросов «Записки из подполья» (далее – «Записки») вырываются из русской действительности середины XIX века, «колоссально перерастают <...> конкретный социально-исторический аспект, выходя к проблематике всемирно-исторической, экзистенциальной» (ТИХОМИРОВ 2012: 271–272). Конкретизируя мнение Б. Н. Тихомирова, в разработке центральной для повести проблемы человеческой личности можно указать на перекличку позиций Достоевского и представителей экзистенциалистской философии XX века.

У. Кауфман, вписавший Достоевского в историю экзистенциализма, считал первую часть «Записок» «лучшей увертюрой для экзистенциализма из когда-либо написанного», одновременно предостерегая от приписывания автору, называть которого экзистенциалистом он не видел никаких резонансов и «который, в конце концов, верил в Бога, мировоззрения и идей его подпольного человека» (КАУФМАН, URL: 14). Решительное размежевание позиций автора и героя в данном случае (в книге 1956 года издания), скорее всего, было обусловлено восходящей ко времени создания «Записок» и сохраняющейся вплоть до нашего времени устойчивой традицией не до конца справедливой трактовки подпольного

человека (благодаря его самоаттестации) как антигероя в прямом и полном смысле этого слова (ЕВЛАМПИЕВ 2012: 246).

Противовесом мнению Кауфмана может служить точка зрения В. Шмида о более сложном соотношении голосов автора и героя у Достоевского. «Нередко писатель производит в вымысле эксперимент, подвергая свои убеждения испытанию. <...> Он осуществляет в произведении те возможности, которые в жизни должны остаться нереализованными. <...> Абстрактный автор может предстать перед читателем в идеологическом аспекте значительно радикальнее и одностороннее, чем конкретный автор был в действительности. <...> Достоевский, например, в своих поздних романах проявляет удивительное понимание разных идеологий, которые он как публицист резко оспаривает» (ШМИД 2003: 55). Хотя хронологически «Записки» не относятся к поздним романам Достоевского, тем не менее именно в этой повести ее исследователи обоснованно видят начало периода творческой зрелости писателя с его будущим «пятикнижием» (см., например, ШЕСТОВ 1996: 332; БАХТИН 2002: 69).

Вневременное и вненациональное значение поднимаемых Достоевским вопросов, в том числе и выраженных от лица (анти-)героя, определяется по мере исторического развития человеческой цивилизации, выстраивающей вокруг «Записок» принципиально иные контексты. «В литературе и общественном сознании эпохи Достоевского такой тип личности не мог оцениваться иначе, как сугубо отрицательный. Однако спустя более чем столетие после смерти писателя, зная все пережитые Европой в XX в. трагедии, мы обязаны оценивать его уже совершенно иначе. <...> Именно этот тип личности оказался способным противостоять всем изощренным формам тоталитарного подчинения, на которые оказался так богат XX в. Все „принципиальные“, „убежденные“, глубоко „положительные“ личности легко становились винтиками тоталитарной общественной системы. <...> И только „подполье“ <...> оставалось зоной подлинной свободы» (ЕВЛАМПИЕВ 2012: 292).

Близость деклараций подпольного человека положениям экзистенциалистской философии XX века заключается в сущностных особенностях антропологической проблематики – в целенаправленном осмыслении героем собственной личности и через себя – человеческой личности как таковой. В «Записках» даже единичные и на первый взгляд внесистемные утверждения подпольного человека, не касающиеся непосредственно его самого и поэтому, вероятно, позволяющие обнаружить скрытый в словах героя авторский голос, подчинены этой телеологии. «Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получают, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, – ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет?» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 119). Контекстуальное противопоставление «человека» «работникам» как единичного множественному, целого частному, родового видовому, асоциального

типическому, индетерминированного обусловленному извне, свободного сценарному и т. д. подчеркивает в «человеке» его субстанциальную природу, «очищенную» от всевозможных социальных напластований, а завершающий риторический вопрос позволяет говорить о провидческом предвидении Достоевским экзистенциалистской «заброшенности» «человека» в мире.

Этой же логике подчинены двусмысленно-иронические сожаления подпольного человека о несостоявшейся «карьере» лентяя. Именуя лентяя (человека *in essentia* с нулевой социальной значимостью) недостижимым подчеркнута социальным («„Лентяй!” – да ведь это званье и назначение, это карьера-с»; ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 109) идеалом, подпольный человек себя не только помещает в самый низ общественной иерархии, но и вообще выводит за ее пределы. Не приниженное, а именно внешнее по отношению к социальной (а чуть позже и к природной) вертикали положение героя подчеркивается в дальнейшем развитии темы, в насквозь ироническом сравнении себя-лентяя с самодовольным знатоком лафита, почитавшим «это за положительное свое достоинство» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 109), или в желании «сделаться насекомым» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 101), или в признании в своем мистическом происхождении «не из лона природы, а из реторты» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 104).

По замечанию Бахтина, герой Достоевского представляет собой слово («герой – носитель полноценного слова <...>. Замысел автора о герое – замысел о слове. Поэтому и слово автора о герое – слово о слове»; БАХТИН 2002: 75). При такой авторской установке выбор *Icherzählung* для организации повествования в «Записках» не случаен. Наделяя героя возможностью непосредственного высказывания, *Icherzählung* одновременно лишает его каких-либо примет телесности, превращая в чистое сознание. Сам герой «Записок» воспринимает себя именно таким образом, представляясь «слишком сознающим» человеком по сравнению с окружающими: «для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 101; см. также ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 119), то есть его самого.

В этом пункте «Записки» могут быть сопоставлены с программным романом Ж. П. Сартра «Тошнота», представляющим собой программу выявления «сознательного» аспекта человеческой личности в чистом виде.

Во-первых, Сартр, подобно Достоевскому, самоустраивается из своего романа, написанного в форме дневника героя. «Собственноручность» дневника подтверждается специальным указанием мнимых издателей об аутентичности публикуемого текста и пропусками на месте якобы не разобранных ими слов на первой странице рукописи (как предполагается, поврежденной при длительном хранении). Во-вторых, сартровский художественный эксперимент подводит к моделированию для героя

умозрительной конструкции, напоминающей своего рода «подполье». Самоанализ героя Достоевского становится возможным после выхода в отставку и разрыва всех социальных связей. Аналогичным образом герой Сартра последовательно уничтожает все субъект-объектные, межличностные и органические связи, «очищая» сознание от порожденных ими ментальных феноменов: Рокантен избегает зрительных и тактильных контактов с вещами, причисляя к ним людей, исчерпывающихся для него двумя-тремя чертами внешности, малейшее изменение которой вызывает у героя сложности с идентификацией прежних знакомых; собственное лицо не соотносится героем с его «я» и предстает случайным набором аморфных деталей; свернувшаяся кровь из царапины превращается из части телесного «я» героя в вещное «не-я» и т. д.

Очевидное сходство между «Записками» и ключевыми текстами французского экзистенциализма обнаруживается также в системе деформированных социальных коммуникаций героев, не принимающих окружающих и, в свою очередь, отторгаемых ими, причиной чему служит несовпадение мировоззренческих и вытекающих из них житейски-бытовых установок. «Чтобы осознать нелепость <...> осуждения подпольного человека как „антигероя“, <...> достаточно задаться вопросом: а кто тогда противостоит ему как подлинный герой? <...> Именно автор подпольных записок <...> обладает настолько высоким жизненным и нравственным идеалом, что не в состоянии считать чью-нибудь жизнь, в том числе и свою, достойной этого идеала. Но окружающие его люди, „все“, вообще не имеют никакого представления об этом идеале» (ЕВЛАМПИЕВ 2012: 277). Параллели метафизической взаимной неприязни подпольного человека и других персонажей «Записок» можно найти в «Постороннем» А. Камю, герой которого своим поведением выражает неприятие общественных условностей, норм и ритуалов.

Один из ключевых пунктов философии экзистенциализма – свобода как субстанциальное свойство человеческой личности («человек <...> полностью и всегда свободен или его нет»; САРТР 2020: 767). Хотя с позиций порицаемого Сартром в «Бытии и ничто» (1943) здравого смысла тотальная социальная и природная обусловленность человека кажется непреодолимой («как бы ни казалось, что человек „делает себя“, он представляет собой „бытие сделанное“, сделанное климатом и почвой, расой и классом, языком, историей общности, частью которой он является, наследственностью, индивидуальными обстоятельствами своего детства, приобретенными привычками, большими и малыми событиями своей жизни»; САРТР 2020: 833), Сартр отделяет безусловную (и единственно истинную в его понимании) свободу человека осуществлять акт выбора в своем сознании от общепринятого понимания свободы как возможности реализовать предпочтения на практике. «Формула „быть свободным“ не означает „получить то, чего хотели“, но „определиться

хотеть (в широком смысле выбирать) посредством самого себя”. <...> Мы не будем говорить, что заключенный всегда свободен выйти из тюрьмы – это было бы абсурдно, <...> однако он всегда свободен пытаться бежать (или освободиться), то есть в каких бы условиях он ни находился, он может проектировать свой побег и познать ценность своего проекта, начав действовать. Наше описание свободы не делает различия между выбором и действием; мы обязаны отказаться сразу от различия между намерением (интенцией) и действием» (САРТР 2020: 836–837).

Такого рода рассуждения о свободе заключенного в книге, вышедшей в годы фашистской оккупации Франции, вызвали упреки по адресу Сартра со стороны носителей «здорового смысла». Тем более показательно совпадение с его мнением позиции не абстрактного, а вполне реального заключенного В. Франкла: «в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего – человеческой свободы, свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. <...> Смысл имеет не только деятельная жизнь, дающая человеку возможность реализации ценностей творчества, и не только <...> жизнь, дающая возможность реализовать себя в переживании прекрасного. <...> Остается последняя возможность наполнить жизнь смыслом: занять позицию по отношению к этой форме крайнего принудительного ограничения его бытия» (ФРАНКЛ 2009: 128, 130). (Примечательно, что в книге В. Франкла рядом с этими словами упоминается Достоевский.)

Предвосхищением этих идей является на первый взгляд странное заявление подпольного человека «я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 101), утверждающее своеволие сознания при нулевой практической результативности отсутствующих действий («жил» по вынужденной необходимости – «поселился» по собственному свободному выбору, отвергнув открывшуюся возможность переезда), так и пространные рассуждения о «стене» («законах природы и арифметики»), сковывающей свободу человека, и о возможности ее умозрительного «ничтожения»: «разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней <...> То ли дело все понимать, все сознать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 105–106).

Стойкая позиция подпольного человека в этом пассаже также вполне сопоставима с позицией экзистенциалистского Сизифа по отношению к приговору богов в интерпретации Камю («Сизиф, пролетарий богов, бессильный и возмущенный, знает сполна все ничтожество человеческого удела <...>. Ясность ума, которая должна бы стать для него мукой, одновременно обеспечивает ему победу. И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься с помощью пре-

зрения»; КАМЮ 1997: 100). Любопытно, что рядом с этими словами у Камю упоминается Кириллов из «Бесов» Достоевского.

Раскрывшиеся и оправданные историей лишь столетие спустя, но в середине XIX века опасные смыслы откровений подпольного человека вызвали чрезвычайно сложную стратегию взаимоотношений Достоевского не только с собственным героем, но и в целом с текстом его «записок». Так, С.Г. Бочаров обращает внимание на двусмысленности в письме Достоевского брату о цензурных купюрах повести. «„Там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, – то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа – то запрещено”. Странно здесь это личное „я”, как будто глумливую речь своего героя автор берет на себя. <...> Здесь <...> что-то вроде самоотжествления, более сложного, чем тот простой внешний факт, что все-таки „я” за героя это все написал. Странно, с другой стороны, представить, как это человек из подполья вывел бы от себя потребность Христа <...> (так что не исключена и мистификация Достоевского – предположение К. Степаняна)» (БОЧАРОВ 2007: 632–633).

Внутри «Записок» как текста с распределенным авторством наблюдается осцилляция смыслов. Характеризуя слово подпольного человека, М.М. Бахтин определяет его как «слово с лазейкой» («лазейка – это оставление за собой возможности изменить последний, окончательный смысл своего слова»; БАХТИН 2002: 259). Подобно номинальному, реальный автор «Записок» всячески препятствует формированию у читателя представлений о воплощенной в тексте монологически единой и идеологически монолитной смысловой инстанции.

Одной из форм выражения мерцающей авторской позиции в «Записках» является специфически организованная структура повествования, мистифицировавшая исследователей. Так, не вдававшийся в нюансы нарратологии Л. Шестов отождествлял автора и героя «Записок»: Достоевскому «страшно было думать, что „подполье”, которое он так ярко обрисовывал, было не нечто ему совсем чуждое, а свое собственное, родное. <...> Как только в речи Достоевского <т. е. высказывающегося героя. – А.С.> послышится истерика, необычайно высокие ноты, неестественный крик – вы с несомненностью можете заключить, что это начинается „примечание” <т. е. собственно авторский голос. – А.С.>» (ШЕСТОВ 1996: 330). М.М. Бахтин, напротив, постулирует принципиальную неслиянность голосов автора и героя у Достоевского. «Слово героя создано автором, но создано так, что оно до конца может развить свою внутреннюю логику и самостоятельность» (БАХТИН 2002: 77). П.А. Йенсен обнаруживает в «Записках» три повествовательные инстанции. «В начальных и заключительных предложениях „Записок из подполья” обнажаются и выставляются напоказ <...>: автор записок <...>, якобы „внешний” запискам, реальный автор „Федор

Достоевский” и внутренний, фиктивный автор заключения» (ЙЕНСЕН 2000: 227). А Л. Бэгби в одном лишь примечании к первой части «Записок» насчитывает уже четыре голоса: вымышленный редактор, сатирик, детерминист и имплицитный автор (БЭГБИ 2020: 125–126).

Примечание это («И автор записок и самые „Записки”, разумеется, вымышлены. <...> В следующем отрывке придут уже настоящие „записки” этого лица о некоторых событиях его жизни. Федор Достоевский»; ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 99) выделяется на достаточно представительном фоне указаний Достоевского на фиктивного автора/повествователя в его предшествующих «Запискам» произведениях, написанных в форме *Icherzählung*, каковы, например, «Честный вор» и «Елка и свадьба» (оба – с подзаголовком «Из записок неизвестного») или «Белые ночи. Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя)». Примечание в «Записках», в отличие от предыдущих примеров, а) развернуто, б) отсылает читателя не к условному, а к почти индивидуализированному повествователю и в) подписано собственными именем и фамилией реального автора (иные отличительные характеристики указаны Л. Бэгби; см. БЭГБИ 2020: 115). Оно важно для понимания соотношения повествовательных инстанций «Записок» не только как факт открытой авторской интродукции в текст собственного произведения (пусть и в форме маргиналий), ибо здесь существенно не столько то, что автор говорит, сколько то, что он говорит.

Необычность примечания состоит не только в его оформлении, но также и в очевидной избыточности сообщаемых читателю сведений. Повесть публиковалась с указанием автора, и вряд ли читатели могли бы усомниться в фикциональной природе «Записок», о чем Достоевский тем не менее счел нужным специально напомнить, пойдя на демонстративное нарушение привычных конвенций художественной коммуникации («если „Записки, разумеется, вымышлены” (курсив мой – Л.Б.), разве надо об этом напоминать читателям?»; БЭГБИ 2020: 123). Точно такой же странной (если не открыто издевательской) выглядит завершающая (в книжных изданиях повести) примечание фраза «Федора Достоевского», уверяющего, должно быть, сверхнаивного читателя в документальной подлинности грядущих вымышленных «записок» «разумеется, вымышленного лица».

Подписывая примечание своими именем и фамилией, Достоевский формальным образом устранялся от авторства всего остального текста, перекладывая ответственность за радикальные декларации на героя, а указанием на вымышленный характер «Записок» тут же дезавуировал такое распределение авторства. Тем самым авторская позиция Ф.М. Достоевского (позиция конкретного автора) заявлялась как сложная интерференция изначально демонстративно размежеванных позиций абстрактного автора «Федора Достоевского», репрезентирующего себя в примечании, и фиктивного нарратора – подпольного человека.

Столь замысловатая структура авторства «Записок», по всей видимости, была вызвана нежеланием Достоевского ни быть однозначно противопоставленным подпольному человеку, ни быть солидаризированным с ним в читательском понимании.

Сам текст повести не содержит в явном виде свидетельств дистанцирования автора от героя («мы не умеем его распутать и разделить голоса, отделить гениального автора от противного типа»; БОЧАРОВ 2007: 632), по каковой причине отделение зерен автора – «идеолога любви и совести» от плевел «обличителя и разрушителя» (СКАФТЫМОВ 1972: 90) зачастую производится с аргументами, почерпнутыми за пределами «Записок», например, в близкой по времени создания публицистике Достоевского (СКАФТЫМОВ 1972: 113–128, ТИХОМИРОВ 2012: 285). По поводу «Записок» Т.А. Касаткина замечает: «Когда Достоевский переиздает этот текст, он не пытается там что-либо существенно изменить. Из чего, по-видимому, нам следует заключить: в конце концов он пришел к выводу, что та потребность веры и Христа, которую он хотел вывести из текста, все-таки уже заложена каким-то образом в текст» (КАСАТКИНА 2019: 116). Тем не менее, по мнению исследовательницы, «приступая к „Запискам из подполья”, нам <...> нужно иметь в виду некую единую глубинную мысль текстов, созданных писателем <...> в первой половине 1860-х годов. <...> Она может быть увидена только тогда, когда мы обнаруживаем ее во всех произведениях определенного периода творчества» (КАСАТКИНА 2019: 117).

Каковы же внутритекстовые маркеры позиции автора, сложно полемизирующего со своим героем на его собственной «территории»?

Кроме демонстрации проблематичного авторства «Записок» в примечании, установка Достоевского на размывание монологически единой авторской позиции обнаруживается в особенностях функционирования темпоральных образов, наиболее часто встречающимся из которых является «сорок лет».

Из анализа высказываний героя Т.А. Касаткина делает вывод, что «подпольем он почитает всю свою земную жизнь», сорока годам которой исследовательница находит предсказуемый библейский аналог – «сорокалетнее вождение евреев Моисеем по пустыне» (КАСАТКИНА 2019: 127). При всей справедливости наблюдений исследовательницы следует отметить, что в повести также достаточно примеров высказываний иного рода. Почти навязывая (18 словоупотреблений) читателю эту прозрачную аналогию, Достоевский почти открыто ее разрушает.

Во-первых, заявление героя о его «подпольной» жизни уже во втором абзаце повести как будто бы заранее пресекает возможность ассоциаций с библейским текстом. «Я уже давно так живу – лет двадцать. Теперь мне сорок» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 99). Воспоминания о школьных годах, вероятно, должны были максимально отодвинуть в прошлое начало

«подполья», однако отсчитывать его с самых первых лет (даже, строго говоря, дней, если признать полную справедливость библейских ассоциаций) жизни героя вряд ли правомерно.

Во-вторых, подобно Макару Девушкину, соглашающемуся называться крысой, подпольный человек приравнивает себя к мышши и, сочиняя той «биографию», проводит явные параллели между ее воображаемой и своей реальной жизнями, в том числе использованием одних и тех же деталей и образов, включая пресловутые «сорок лет». «Кругом нее <мышши. – А. С.> набирается какая-то роковая бурда, <...> состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей. <...> Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышшь <...> сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 104). Как явствует из описания, сорок лет «мышшиного» подполья начинаются с оставления мира «деятелей» и погружения «в щелочку», что соответствует выходу подпольного человека в отставку и поселения в своем углу. Таким образом, «сорок лет» будущих мышшиных «припоминаний и прибавлений постыдных подробностей» могут быть прочитаны как указание не на прошедшие, а на предстоящие подпольному человеку сорок лет творческой деятельности, начавшейся прямо на глазах читателя с первых страниц повести. Косвенным основанием для таких предположений могут служить обещания подпольного человека «до восьмидесяти лет проживу!» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 101) и обрыв излияний героя на полуслове в финале «Записок».

Наконец, установка на дискредитацию монологизма авторской позиции наблюдается и в композиционном строении повести, обе части которой с событийной точки зрения расположены в обратной хронологической последовательности, что, на первый взгляд, подтверждает поддержанное С.Г. Бочаровым предположение К. Степаняна о мистификации Достоевского. Действительно, сложно «представить, как это человек из подполья вывел бы от себя потребность Христа» (БОЧАРОВ 2007: 632), учитывая, что его гневные инвективы в первой части повести не предваряют историю с Лизой, а являются итоговым выводом «сорокалетнего» подполья, включающего в себя и этот эпизод 16-летней давности.

Между тем нельзя забывать, что с повествовательной точки зрения вторая часть «Записок», напротив, представляет собой обусловленное внутренней логикой продолжение и развитие первой. Таким образом, можно предположить, что давнее переживание истории с Лизой приводит

подпольного человека к выводам, сформулированным в первой части повести, тогда как *проговаривание* истории с Лизой превращается для героя в суд себя вчерашнего собой сегодняшним (ср. «Подросток»), «когда лишь ретроспективно, из сегодняшнего дня герой проникает – оказывается способным проникнуть – в сокровенные переживания, подлинные мотивы поведения, отношения к нему Лизы, которые тогда, шестнадцать лет назад, он воспринимал превратно и превратно же реагировал на них» (ТИХОМИРОВ 2012: 292).

Показательно, тем не менее, что ни прозревший герой не высказывает пожеланий дезавуировать свои прежние заявления, ни автор не позволяет герою окончательно прозреть и прийти к этому закономерному решению, и здесь сохраняя тщательно поддерживаемое на протяжении всего текста диалогическое равновесие точек зрения.

### Литература

- БАХТИН М.М. (2002) Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 тт. Т. 6. Москва, 2002. 7–300.
- БОЧАРОВ С.Г. (2007) «Записки из подполья»: «музыкальный момент» // Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. Москва, 2007. 631–638.
- БЭГБИ Л. (2020) Первые слова: о предисловиях Ф.М. Достоевского. Санкт-Петербург, 2020.
- ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. (1973) Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 тт. Т. 5. Ленинград, 1973. 99–179.
- ЕВЛАМПИЕВ И.И. (2012) Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карамазовым»). Санкт-Петербург, 2012.
- ЙЕНСЕН П.А. (2000) Парадоксальность автора (у) Достоевского // Петербургский сборник. Вып. 3, Парадоксы русской литературы. Сб. статей. Под ред. В. Марковича и В. Шмида. Санкт-Петербург, 2000. 219–233.
- КАМЮ А. (1997) Миф о Сизифе // Камю А. Сочинения: В 5 тт. Т. 2. Харьков, 1997. 5–112.
- КАСАТКИНА Т.А. (2019) Достоевский как философ и богослов: художественный способ высказывания. Москва, 2019.
- САРТР Ж.П. (2020) Бытие и ничто. Москва, 2020.
- СКАФТЫМОВ А. П. (1972) «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей. Москва, 1972. 88–133.
- ТИХОМИРОВ Б.Н. (2012) «Записки из подполья» как художественное целое. Опыт прочтения // Тихомиров Б.Н. «Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. Санкт-Петербург, 2012. 268–299.
- ФРАНКЛ В. (2009) Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере. Москва, 2009.
- ШЕСТОВ Л. (1996) Достоевский и Ницше (философия трагедии) // Шестов Л. Сочинения: В 2 тт. Т. 1. Томск, 1996. 317–464.
- ШМИД В. (2003) Напратология. Москва, 2003.
- KAUFMANN W. Existentialism from Dostoevsky to Sartre // Existentialism from Dostoevsky to Sartre. Edited, with an introduction, prefaces, and new translations by

Walter Kaufmann. New York: Meridian Books, Inc. [https://www.academia.edu/8957206/Walter Kaufmann Existentialism from Dostoevsky to Sartre](https://www.academia.edu/8957206/Walter_Kaufmann_Existentialism_from_Dostoevsky_to_Sartre)

**The problem of personality in the dialogue of the author and the hero of “Notes from the Underground” by F.M. Dostoevsky.** The problem of personality in “Notes from the Underground” is considered in the article in two interrelated aspects. The first is an analysis of the anthropological views of Dostoevsky’s hero, radical for the time of the creation of the story, but positively presented in the existentialism of the twentieth century (Sartre, Camus, Frankl). The second is an analysis of the forms of expression of the author’s position, which paradoxically combines distance from the hero’s ideology and attention to his point of view. Dialogism and the internal contradictoriness of the author’s position are considered as a factor that determines the structure of authorship, the organization of the narrative, the functioning of temporal images (“forty years”), the peculiarities of the plot-compositional structure of “Notes from the Underground”.

**Keywords:** existentialism, personality, author and hero in Icherzählung, narration

